

Дж. Г. Байрон

Жалоба Тасса.

Источник: Бай
рон.
Библиотека
великих
писателей под
ред. С. А.
Венгерова. Т. 2,
1904.



Торквато Тассо (Torquato Tasso).

Портрет кисти Алори (Alessandro Allori, 1535—1607) во Флоренции (Firenze, Galleria Uffizi).

Жалоба Тасса.

Байрон чувствовал в себе какое-то прирожденное тяготение к югу: южное солнце и тепло, южные яркие краски, южные пылкие страсти - все это было ему не только крайне симпатично и привлекательно, но и как бы сродни. "Кровь у меня южная" - говорит он в стихотворении, посвященном графине Гвиччиоли. Читатель легко согласится с этим заявлением, если припомнит, что Байрон обладал редким по страстности и пылкости темпераментом. Неудивительно, что под голубым небом юга он чувствовал себя гораздо лучше, чем среди туманов Лондона.

В Италии провел Байрон восемь последних лет своей жизни (1816--1824). Эта страна сделалась его второй родиной. Здесь развернулся его талант во всей своей шире и мощи, здесь

написал он свои величайшие произведения. Уже при первом знакомстве Италия совершенно покорила нашего поэта: в первый год своего пребывания в ней Байрон пишет четвертую песнь "Чайльд-Гарольда", представляющую не что иное, как восторженный апофеоз этой прекрасной страны, ее природы, искусства и литературы.

Во время путешествия в Рим, которое дало главное содержание этой песне, Байрон посетил Феррару, старинную столицу герцогов д'Эсте, - меценатов эпохи Возрождения. Сюда привлекло его желание посмотреть ту тюрьму, в которой в продолжение семи лет томился Торквато Тассо, автор прославленной поэмы "Освобожденный Иерусалим" (ср. письмо к Т. Муру из Венеции 11 апреля 1817 г.).

Горячим поклонником Тасса был Байрон еще в Англии. В его библиотеке, перед отъездом на континент, имелось целых четыре издания "Освобожденного Иерусалима" на итальянском языке. Стих из Тассо послужил ему эпиграфом к "Корсару"; во второй песне "Чайльд-Гарольда", в поэмах "Лара" и "Паризина" замечаются отголоски внимательного изучения итальянского поэта.

Представление об Италии и Риме у Байрона так же тесно было связано с именем певца "Освобожденного Иерусалима", как и у нашего Баратынского, мечтавшего о путешествии в "прекрасную Авзонию":

Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический древняго Рима,
Родина неги, славой объята,
Будешь-ли некогда мною ты зрима?

Байрон был таким же восторженным почитателем итальянского поэта, как и другой наш поэт - Батюшков, прославлявший Тассо и в стихах, и в прозе. (Стихотворения "Умирающий Тассо", "Послание к Тассу" и статья: "Ариосто и Тассо").

Духовным очам английского писателя автор "Освобожденного Иерусалима" рисовался в двойном ореоле: вдохновенного певца и гонимого судьбою страдальца. К пышным поэтическим лаврам примешивались острые тернии мученического венца. Байрон был всегда красноречивым ходатаем за права человеческой личности, пламенным защитником угнетенных и страдающих, беспощадным врагом деспотизма и притеснения. Всякое человеческое существо, по его воззрению, имело право на свободу. Всякое насилие над человеческою личностью его глубоко возмущало. Еще более возмутительным казалось ему насилие, направленное против отмеченного Божьим престоном избранника, мирного служителя муз, гордость и славу родной страны.



Такъ называемая Келья Тассо въ госпиталѣ Св. Анны въ Феррарѣ.
(The prison called Tasso's Cell in the hospital of Sant'Anna).

Такое возмутительное насилие употребил герцог феррарский Альфонс II по отношению к певцу "Освобожденного Иерусалима", подвергнув его семилетнему заключению среди сумасшедших в госпитале св. Анны (от марта 1579 г. до июля 1586 г.). Это заключение было одиночным и сопровождалось чрезвычайно суровым и грубым обращением с несчастным поэтом. Кроме черствого тюремщика, никто не имел к нему доступа. Хотя официальным предлогом заключения выставлялось сумасшествие Тассо, он был совершенно лишен и медицинской помощи. Вступив в тюрьму в цветущем возрасте (ему было тогда всего 35 лет), поэт покинул ее через семь лет, почти стариком по наружности, с ослабленным зрением и слухом и с признаками начинавшагося развиваться, под влиянием всего испытанного, --душевного недуга.

Психическое состояние Тассо в эти томительно-долгие годы абсолютного одиночества было чрезвычайно тяжело. Его письма, опубликованные Гвасти в 1853 г., рисуют нам мрачную картину душевной удрученности и подавленности. Всего более угнетает его одиночество, которое он называл своим жесточайшим врагом ("E sovra tutto, --пишет он в мае 1580 г. - m'afflige la solitudine, mia crudele e natural nimica"). Он терзается в догадках относительно причины своего несчастья: "Что сделал я? Почему я заперт в тюрьме? Если я болен, то почему же отказывают мне во врачех и в духовнике? Если меня обвиняют в чем-нибудь, то почему же отказывают мне в возможности защиты?" Напрасно он пишет трогательные и убедительные письма к Альфонсу, --он не получает на них никакого ответа. Тогда он ищет прибежища в религии, начинает считать себя великим грешником, упрекать за сомнения и колебания в вопросах католической веры - и мало по малу погружается в бездну мрачного мистицизма. Ему начинают слышаться какие-то таинственные голоса, злой дух приходит искушать его, он страдает от видений и галлюцинаций.

Тюрьма совершенно погубила его чудный поэтический талант. Свой невольный досуг он посвящает исключительно разрешению мучащих его вопросов философии и религии и изнывает в бесплодных попытках примирить идеи жизнерадостного Возрождения с суровой догматикой католицизма. Его дух падает под тяжестью этой задачи. Тассо превращается в аскета, считает

греховными все свои поэтические произведения и, умирая (в 1595 г.), завещает сжечь "Освобожденный Иерусалим".

Задатки такого печального исхода таились, несомненно, в самой натуре Тассо, натуре нежно-организованной, нервной, до болезненности впечатлительной и легковозбудимой. Сын переходной эпохи, живя под противоречивым воздействием последних отголосков Возрождения и наступившей, в противовес ему, католической реакции, он мог легко сделаться жертвою культурной борьбы своего времени. Герцог Феррарский усугубил тяжесть положения Тассо, превратив его также и в жертву деспотизма, и этим нанес такой удар автору "Освобожденного Иерусалима", от которого он уже не мог поправиться.

До сих пор не вполне выяснены причины, обусловившие такой жестокий образ действий Альфонса. Лучшие биографы Тассо (Cecchi: *Torquato Tasso e la vita italiana del secolo XVI*, Firenze 1877 и Solerti: *Vita di Torquato Tasso*, 1895)) сходятся лишь в том утверждении, что, вопреки преданию, любовь к сестре герцога - Элеоноре - не была такою причиною. Эту прекрасную принцессу Тассо знал в течение тринадцати лет, пользуясь ее дружеским расположением и покровительством. Элеонора была на семь лет старше поэта, и в момент заключения его в тюрьму ей уже было сорок два года. Через два года, в 1581 году, принцесса умерла. Что любовь к ней Тассо не была причиною его заключения, видно уже и из того, что и после ее смерти это заключение продолжалось еще пять лет.

Тассо пал жертвою рокового стечения неблагоприятных для него условий, среди которых немаловажную роль сыграли, и придворные интриги, опутавшие его сетью зависти и злобы, и деспотическая замашка избалованного мецената, и собственный неуравновешенный характер поэта. При дворе велась против поэта систематическая травля в роде той, которой подвергал большой свет нашего Пушкина. К его итальянскому собрату вполне применимы лермонтовские стихи:

Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид;
Возстал он против мнений света
Один, как прежде...

"Мелочные обиды" больно уязвляли нервную и болезненно впечатлительную натуру Тассо и доводили его до раздражения, которым искусно пользовались его враги, чтобы поссорить поэта с герцогом Альфонсом. Кроме того, своими неосторожными сношениями с Медичи и папою Тассо возбудил большое неудовольствие в подозрительном герцоге, увидевшем в них чуть ли не измену Ферраре. Желание Тассо отстоять, живя при дворе, свою нравственную самостоятельность, его неумение "сгибаться в перегиб" и раболепствовать - подлили масла в огонь. Все это, взятое вместе, и привело к роковому исходу; ссоре с герцогом и безжалостному семилетнему заключению в доме сумасшедших. Все эти сложные обстоятельства, раскрывшиеся только в наше время, были совершенно неизвестны Байрону, когда он в апреле 1817 г., вслед за посещением Феррары, написал свое прочувствованное стихотворение. Здесь все построено на предположении, что причиною долголетия за заключения Тассо была любовь его к принцессе Элеоноре.

Я не был слеп, а ты была прекрасна -
Вот почему судьба моя несчастна,--

в этих словах Тассо выражен основной мотив стихотворения, проведенный с начала до конца. Байрон не имел в виду осветить личность итальянского поэта с культурно-исторической точки зрения, не думал выяснить ту сложную душевную борьбу, которая выпала на его долю, как чуткого представителя переходной и полной контрастов эпохи. Такой цели не преследовал и Гете в известной трагедии "Торквато Тассо". Немецкий поэт дал лишь тонкий психологический эскиз нежно-организованной поэтической натуры, страдающей от соприкосновения с грубою прозою жизни. Байрон еще более сузил свою задачу, ограничившись характеристикою Тассо в отношении его к любимой женщине.

Элеоноре Байрон приписывает такую же роль в жизни Тассо, какую играли ; Беатриче и Лаура в жизни Данта и Петрарки. Его любовь--не минутное упоение, не бред пылкой крови, а,

подобно тому, как это было у его предшественников, - явление высокого нравственного порядка, исполненное глубины и некоторого мистического оттенка. Если бы Петрарка потерпел заключение за свою Лауру, то его жалобы, вероятно, мало бы разнились от тех, которые английский поэт влагает в уста Тассо.

Хотя Тассо является у Байрона в несколько одностороннем освещении, но все-таки его "жалоба" исполнена глубокого лиризма, искренности и трогательности. Образ несчастного певца, светлый ум которого начинает мутиться под влиянием семилетней пытки одиночного заключения, прочно запечатлевается в памяти читателя.

Подобно шильонскому узнику, Тассо изображается жертвою деспотизма. Как на Бонниваре, так и на певце "Освобожденного Иерусалима" (законченного, вопреки Байрону, задолго до заключения в тюрьму) автор одинаково прослеживает ужасающие последствия произвола над человеческою личностью: в шильонском узнике тюрьма подавляет врожденное стремление к свободе, а в Тассо она убивает его выдающиеся духовные способности.

Как в "Шильонском узнике" основная мысль подчеркнута в предшествующем поэме сонете, прославляющем свободу, так "Жалоба Тассо" заключается апотеозой поэта в будущем, служащей осуждением образа действий герцога Альфонса:

Я перейду к далеким временам.

Я превращу мою темницу в храм -

И целые народы. поколенья

Сюда толпой придут на поклоненье

Этот мотив еще более развит в нескольких строфах IV-ой песни "Чайльд-Гарольда", в которых Байрон снова вернулся к судьбе Тассо, клеймя "презренный деспотизм" Альфонса с новою силою:

Припомнив песнь, в ту келью бросьте взор,

Куда поэта вверг Альфонс надменный.

Но угасить не мог тиран презренный

Великий ум поэта своего

И эту ужасною гееной

Безумия, и Тассо торжество

Прогнало сумрак туч; вокруг имени его

Хвалы и слезы всех времен. В забвенье

Меж тем исчезла б память о тебе,

Как прах отцов - когда-то самоменья

Исполненных, не будь к его судьбе

Причастен ты: теперь твои гоненья

Нам памятны, и герцогский твой сан

С тебя спадет. Будь происхожденья

Иного ты. родился б ты, тиран,

Рабом того, кто был тебе на муки дан.

"Жалоба Тассо" вполне гармонирует с общим содержанием и настроением байроновской поэзии, подчеркивая лишний раз одну из самых выдающихся ее сторон - пламенную борьбу за неотъемлемые права человеческой личности.

М. Розанов.



ЖАЛОБА ТАССА.

В Ферраре, в библиотеке, сохраняются оригинальные рукописи "Gierusalemo" Тассо и "Pastor Fido" Гварини, вместе с письмами Тассо, одним письмом Тициана к Ариосто, а также чернильница и стул, гробница и дом Ариосто. Но так как несчастье более интересно потомству и почти совершенно не интересует современников, то камера, в которой Тассо был заключен в госпитале св. Анны, привлекает больше внимания, чем дом и памятник Ариосто - по крайней мере я это испытал на себе. Там есть две надписи, одна на наружных воротах, вторая над самой камерой, вызывая ненужным образом изумление и негодование посетителей. Феррара сильно разрушена и мало населена; замок еще существует не тронутым и я видел двор, где были обезглавлены Паризина и Гюго, как на это указывает хроника Гиббона.



ЖАЛОБА ТАССА

I.

О, долгие года безвинных оскорблений,
Жестоким клеветы и травли, и тревог,
Кто б мог вас вынести - и кто б не изнемог?
Вы, вы ослабили неутомимый гений,
Орлиный, гордый дух и тело сына муз.
Ты, одиночество! Никто мне не поможет
Разрушить тяжкий гнет твоих проклятых уз.
И душу точно червь неутомимый глохнет,
И жажда воздуха и света бьется в ней,
И сердце и томит и сушит - все сильнее.
Напрасно солнца луч сияет лаской кроткой:
Путь загражден ему железною решеткой;
Она гнетет мой ум, а рабства призрак злой
Встает насмешливо у двери запертой,
Готовой пропустить через свою преграду
Один лишь свет дневной - короткую отраду -

Да пищу скудную в определенный час.
Я свой безвкусный корм вкушал уж столько раз
Наедине с собой, поспешно и безгласно,
Что одиночество мне больше не ужасно
Во время трапезы, и я могу теперь
Угрюмо пировать - как будто хищный зверь,
В берлоге у себя уединясь унылой,
Что ложем служит мне - послужит и могилой.
Все это выше сил людских. Но и сверх сил
Я должен все сносить, как до сих пор сносил.
И до отчаянья, до полного безсилья
Я не позволил-бы унизиться себе.
Я создал для себя магическая крылья
С моей мучительной агонией в борьбе:
На них я, тесную покинувши темницу,
Летел освобождать Господнюю гробницу;
Я душу изливал в честь Бога моего,
Того, кто укрепил смятенный дух, Того,
Кто был здесь на земле и есть на небе ныне.
Я жил меж радостей Божественной святыни,
И чтоб страданием прощенье заслужить,
Мой плен я посвящал на то, чтоб изложить
Как завоевана была, - как ныне чтима
Твердыня вечная святынь Иерусалима.

II.

Но это все прошло. Любимый кончен труд.
Друг долгих, долгих лет, мой свет во мгле темницы:
О, если на его последняя страницы
Украдкой капли слез горячая падут -

То знайте: до сих пор иные все страдания
Ни разу у меня не вызвали рыдания.
Но ты! Мой милый труд, дитя моей души!
Ко мне с улыбкою слетало ты в тиши,
Забвенью мне несло и кроткою любовью
Мирило разум мой с ужасною судьбой.
Но ты уходишь прочь, - и счастье за тобой,
И плачу, плачу я, весь истекаю кровью,
И, как и без того надломленный тростник,
Под окончательным ударом я поник.
Тебя уж больше нет. Как будут дни унылы!
Что остается мне? Как вынести страшный гнет?
Не знаю!.. Лишь в себе искать я должен силы;
И верю - их душа сама в себе найдет.
Ведь я не пал еще! Ведь я не знал позора,
Не знал раскаянья: причины нет к нему.
Они зовут меня безумным... Почему?
Ты не ответишь ли на это, Леонора?..
Да, я безумцем был, что смел мои мечты
Поднять до тех высот, где обитаешь ты;
Но то безумие лишь сердца - не сознания.
Я знал свою вину; и тяжесть наказания
Я чувствую вполне, хоть и не пал под ней.
Увы! Я не был слеп, а ты была прекрасна,
И в этом весь мой грех, наказанный ужасно,
Замкнувший жизнь мою навеки от людей.
Но пусть они меня терзают как угодно:
Знай, сердце все ж тебя любить всегда свободно!
Счастливая любовь - та может до конца

Спокойно догореть, дойти до пресыщенья;
Несчастные - верны: все чувства, ощущенья
Вне чувства одного теряют их сердца.
У них в душе царит одна любовь навеки,
Как льются в океан сверкающая реки,
Так в ней теряется иных страстей волна;
Ея бездонная безбрежна глубина!...

III.

Чу! Слышу дикий крик, протяжный и безумный,
Пленных душ и тел. Сильней! Свистят бичи...
И вой... и богохульств безсвязных ропот шумный...
Но здесь есть худшие безумцы: палачи;
Они терзают ум, измученный несчастьем,
Ненужной пыткой с каким то сладострастьем,
И затемняют ей последний жалкий свет,
Мерцающий в душе. Для их жестокой воли
Восторг - усугублять тоску и ужас боли.
И я - среди их жертв! И мне спасенья нет,
В хаосе этих лиц и страшных звуков - годы
Мучительно пройдут, мне не узнать свободы,
И здесь окончится погибшей жизни путь.
О, если-бы скорей! я жажду отдохнуть.

IV.

Я терпеливым был: молю, еще терпенья!
Я позабыл - не все, чему просил забвенья,
И прошлое живет. Иль рок не повелит,
Чтоб стал забывчив я настолько-ж как забыт?
Но есть-ли гнев в душе к тем людям, чье веленье
Меня в обитель слез повергнуло на век

Вь огромный лазарет, где ум уж не мышление,
Где каждый человек уже не человек,
Где слово уж не речь, а смех уж не веселье,
Где крики ужаса и вой со всех сторон,
Ответ удару вопль, ответ проклятью - стон,
И каждый терпит ад в своей отдельной келье:
Нас целая толпа, но одиноки мы,
Нас делит камень стен; и все углы тюрьмы
Звучат, и эхо шлут безумия и бреда.
И могут слышать все зловещий вой соседа,
И слышат - но никто не слушает вокруг.
Никто! Один лишь тот, поистине несчастный,
Тот, кто не создан быть среди этой тьмы ужасной,
Кого не оковал безумия недуг!
Но есть-ли гнев в душе к виновникам мученья,
Подвергнувшим меня всей пытке заточенья,
Унизившим меня во мнении людей,
К тем, кто разбил навек надежды жизни всей
И сделал мысль мою источником боязни?
Хотел-бы я отмстить за ужас этой казни
И познакомить их с щемящею тоской,
С тем, что такое стон душевной тайной боли,
Борьбою добытый искусственный покой,
И то холодное отчаянье неволи,
Что подрывается под стойкость наших сил.
О, нет! Я слишком горд, чтобы мечтать о мщенье.
Своим мучителям я даровал прощенье
И лишь о смерти б я судьбу теперь просил.
Ты, князя моего сестра, о, Леонора,

Ему из-за тебя я не пошлю укора.
Во мне проклятья нет - из-за одной тебя,
С тех пор, как о тебе мечтаю я, любя -
Из сердца моего изгнал я злобу смело:
Ей гостьей там не быть, где ты царишь всецело.
Твой брат мой злейший враг - прощаю я врагу,
Хоть не жалеешь ты - забыть я не могу.

V.

Смотри! Не уступив отчаянья порывам,
Неугасимую любовь к тебе мою,
Часть лучшую души, так глубоко таю
Я в сердце замкнутом и вечно молчаливом,
Как тучи грозовой таинственная мгла
Скрывает молнию в своем покрове свитом,
Пока не вылетит воздушная стрела -
Так и при имени твоём не позабытом
Пронзит живая мысль мое все существо,
На миг прошедшее передо мною встанет,
Потом - исчезнет вдруг, растает и обманет,
А я... все тот-же я, хоть больше нет его!
И все-ж, моя любовь чужда была надежде,
Как ведаю теперь, так понимал и прежде
Мое ничтожество и твой высокий сан;
Я ведал, что не мне блаженный жребий дан,
И что любовь принцесс - поэту недоступна.
Да, страсть моя была б безумна и преступна,
Когда бы словом я иль вздохом хоть на миг
Мог выдать эту страсть. Но я душой постиг,
Что в отречении - безмерная отрада.

Моя любовь была сама себе награда,
Жила сама в себе. А если я не раз
И выдавал себя немую речью взгляда,
То я наказан был молчаньем милых глаз.
И все же не горел страданьем и томленьем;
Ты мне Святынею божественной была,
Хранимой от меня прозрачностью стекла,
Я обожал ее с немым благоговеньем,
Благословлял ее, слезами обливал,
И тихо вокруг нея я землю целовал.
Не потому, что ты была принцессой знатной,
Нет! Но сама любовь рукою благодатной
Тебя обвеяла сиянием святой
И облекла тебя такую красотой,
Что поражает нас - не страхом, но невольным
Благоговения восторгом богомольным,
Достойным лишь того, кто в небесах царит.
В той дивной строгости для сердца что-то было,
Что прелесть нежности земной превосходило.
Не знаю, почему моя звезда горит
Недвижно пред твоей. Ты дух мой победила.
Хотя б и дерзостью любить без цели было,
Мне стоил дорого печальный жребий мой,
Но ты - дороже мне! И я мирюсь с тюрьмой,
И за тебя готов на все мои мученья.
Та самая любовь, что страшной цепи звенья
Сковала для меня - и облегчает их
И силу мне дает нести мой гнет смертельный,
И побеждать тоску унылых дней моих,

И на тебя взирать душою нераздельной.



ЭЛЕОНОРА Д'ЭСТЕ (Eleonora d'Este).
Рис. Стоунъ (F. Stone), грав. Райолаъ (H. T. Ryall).

Но в этом чуда нет. Уж с первых детских лет
Моя душа была опьянена любовью.
Она с младенчества склонялась к изголовью
И в душу мне лила свой благодатный свет.
Я смешивал ее со всем, что видел в мире:
В бездушной вещи я - как в дорогом кумире -
Умел ее найти. Из мрачных, диких скал,
Где дикие цветы взростали одиноко
И где часами я, задумавшись глубоко,
В сквозной тени деревьев трепещущих лежал,
Мечтая, создавал себе я - кущи рая.
Смотрели мудрецы и, надо мной качая
Главами белыми, твердили, что меня
Одно лишь горе ждет, что плохо обещаю
Я кончить жизнь и что подобному лентяю
Наука лишь--битье... И, в сердце их кляня,
Не плакал все-же я; молчал, снося удары,
И вновь скрывался я, и плакал уж один--
И снова ждал, пока моих мечтаний чары
Не встанут предо мной, как дивный ряд картин.
Шли годы. И душа познала трепет странный
И сладкую тоску... И охватил меня
Восторг одной мечты, неясной и туманной,
Неясной только лишь до памятного дня,
Когда я понял все - и сердцу вдруг открылось,
Зачем оно в груди до той минуты билось,
И то чего искал, что звали все мечты--
Явилось наконец: да--мне явилась ты.
С тех пор утратил я свое существованье,

Чтоб слить его с твоим, и жил в очарованьи;
Вселенной не было уж больше предо мной:
Твой образ заслонил от глаз весь мир иной.

VII.

Да, одиночество мне было прежде мило.
Но Боже! Знал-ли я, что приведется мне
Изведать власть его навеки и вполне?
Проклятие меня от жизни отделило;
Все общество мое - безумец иль палач!
Будь я подобен им, подкошенные силы
Меня бы довели давно уж до могилы.
Но кто слышал мой бред, кто подсмотрел мой плач?
Хоть здесь я и терплю ужаснее мученья,
Чем погибающий в борьбе с волной моряк.
Там перед ним - весь мир; мой мир - вот этот мрак
Да келья тесная и ужас заточенья
В пространстве лишь едва двойной величины,
Чем то, что мне они для гроба дать должны;
Он гибнет - но вокруг все вольно, все широко,
И может к небесам поднять он взор упрека.
Но у меня в душе упрека небу нет,
Хоть тень темничных стен мне застилает свет.

VIII.

И все ж я чувствую день ото дня невольно,
Слабеет разум мой - хоть и не гибнет, нет;
Я вижу иногда какой то чудный свет
И духа странного, что делает мне больно:
Страданья мелкия, насмешки, пустяки,
Что были бы ничем - здоровым и свободным,

Но страшные для тех, кто гибнет среди тоски;
Боль в сердце... Теснота во мраке безысходном...
Страшна мне до сих пор вражда людей была,
Но могут с ними ведь сплотиться духи зла.
Покинутый землей и небом позабытый
Я больше не покрыт Его святой защитой,
И может быть теперь, напав из-за угла,
Творенье жалкое погубит сила зла!
За что-же закалять мой дух в такой печали,
Как в пламени горнил упругость твердой стали?
За то, что я любил то, что не смел? Любил,
Что видеть, не любя, превыше смертных сил?...

IX.

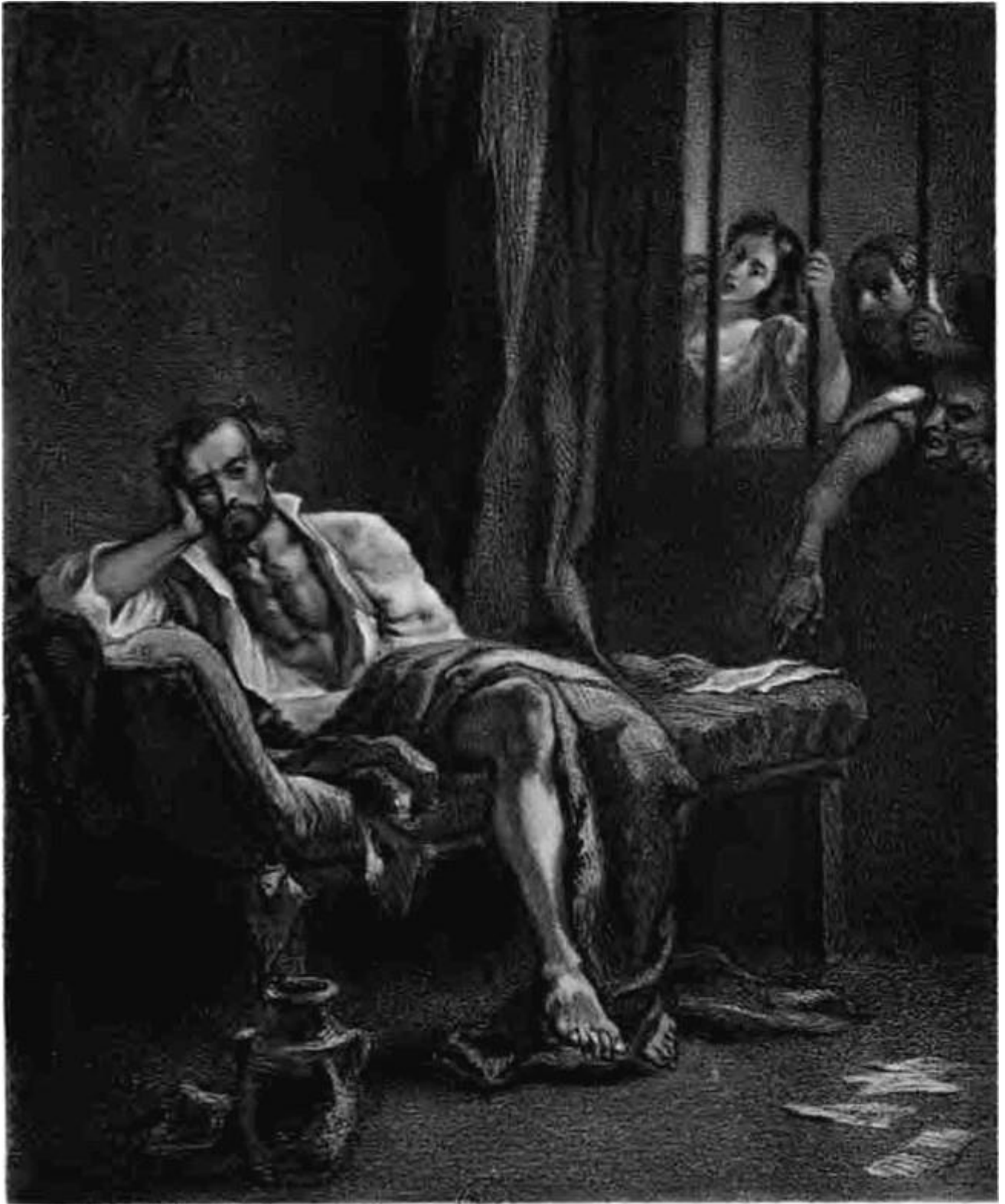
Давно-ли пламя чувств в душе моей пылало
Со всею яркостью? То время миновало,
И раны, мнится мне, безчувственны мои.
Иначе-б я давно разбил свой мозг несчастный
О прутья крепкие решетки той ужасной,
Когда свет солнца льет сквозь них свои струи,
С насмешкой горькою. - Но если все мученья,
Каких не высказать, сношу я и молчу,--
То это потому, что смерти не хочу
И что наветы все, и ложь, и обвиненья,
Повергшия меня во мрак тюрьмы моей,
Самоубийством я-б лишь подтвердил скорей.
Я клевету-б еще унижил состраданием
И припечатал-бы тем самым навсегда
Безумье к памяти моей клеймом стыда.

О нет! Безсмертие - удел моим страданиям;
Из мрачных стен тюрьмы отныне я создам
На поклонение народам - светлый храм.
И ты разрушишься, бездушная Феррара,
Трон герцогский падет, тебя постигнет кара,
И гордые дворцы рассыплются во прах,
И будет пустота в разрушенных стенах.--
Но лишь одно тогда беречь ты будешь свято:
Венец единый твой--безсмертный лавр Торквато,
И славу лучшую--останки этих стен,
Где выстрадал певец свой безпримерный плен.
Так будет--знаю я. И ты, о Леонора,
И ты, красневшая, поднять не смея взора,
При мысли, что тебя любил простой поэт,
Не венчанный монарх - ступай! Поведай брату,
Что сердце бедное, склоняясь к закату,
Не изменилось от горя долгих лет,
От заражения берлоги смрадной ядом,
Где и сама душа гниет совместно с адом
(Хоть это жаждал он прибавить мне пятно).
Нет! Все еще тебя боготворит оно.
Скажи ему еще: когда, покорны власти
Седого времени, пред ним склонятся ниц
Твердыни башен тех зубчатых и бойниц,
Что ныне стерегут часы забав и страсти
И плясок, и пиров, и сладостного сна -
Когда покинут их во мраке без призора,
Навек останется святынею одна
Тюрьма, где я томлюсь! А ты, о Леонора,

Когда исчезнет все, чем обладаешь ты--
Дары рождения и чары красоты,
Тогда я разделю с тобой тех лавров славу,
Что осенят мой гроб - они твои по праву.
Когда обнимет нас могильный вечный сон--
Никто уж наших двух не разделит имен,
Как в жизни власть ничья не в силах вырвать грозно
Из сердца моего небесный образ твой.
Да, Леонора, - так навеки нас с тобой
Судьба соединит, - но горе! слишком поздно.

Т. Щепкина-Куперник.





ТАСС В ТЕМНИЦЕ.

(La Tasse dans la prison des fous).

Картина Делакруа (Eugène Delacroix).

ЖАЛОБА ТАССА.

"В минуту недовольства самим собою или под влиянием меланхолического настроения, чувствуя в душе ничтожество славы и похвал, Байрон заявил во всеуслышание {См. наст. изд. т.

I, стр. 571, прим. к "Оде Наполеону".}, что его муза надолго замкнется в уединении, и все искренние поклонники его гения сожалели о том, что не будут слышать возвышенной музыки его стихов. Но в его душе живы были стремления, присущая самой его природе и не подвластная человеческой воле. Говоря, что он будет молчать, он, может быть, всматривался в глубь своей души и видел там только мрачную, суровую и безмолвную пустыню, подобную песчаному морскому берегу; но прилив страсти в свое время снова вернулся и преобразил эту дикую пустыню в картину, полную прежней красоты и блеска. Дух великого поэта не может подчиняться даже тем оковам, какия он сам на себя налагает: в то самое время, когда он чувствует себя особенно связанным, он, может быть, ближе всего к моменту самой полной свободы, и одного внезапного проблеска довольно для того, чтобы сразу поднять его из мрачного и угнетенного состояния на высоту ничем не смущаемой веры в себя. И в самом деле, не нужно быть глубоким знатоком человеческой природы для того, чтобы быть уверенным в невозможности для Байрона строго соблюдать наложенное им на себя обязательство молчания: нет сомнения в том, что могучий дух поэта только презрительной усмешкой отозвался бы на всякую попытку обуздать его вдохновенные порывы.

"Таким образом, Байрон вскоре снова почувствовал свою силу и снова приобрел над ними ту власть, какая по праву принадлежит его благородному таланту, не нуждающемуся ни в каких ограничениях. Хотя все его герои принадлежат к одной семье, как кровные братья, однако, отдельные представители этой благородной семьи вполне определенно отличаются друг от друга особенностями их личного характера. Каждое из этих действующих лиц, появляясь перед нами, напоминает нам кого-то другого, чьи чувства, мысли, речи и поступки приводили нас в смущение своим диким и бурным величием. Но при всей однородности этих лиц, они в то же время странным образом не похожи друг на друга. Каждого из них мы встречаем с еще более глубоким сочувствием; мы переживаем при встрече с ними удивление, ужас и скорбь, присутствуя при бесконечно разнообразных перипетиях их борьбы, при различных проявлениях могучей страсти, обнаруживающих перед нами все сокровенные извивы человеческой души, мрачной или озаренной светом, возвышающейся или поверженной в прах.

"От этих бурных и ужасных изображений страсти приятно обращаться к тем из произведений Байрона, в которых он явился выразителем чувств более мягких и более обычных. Его сердце дало нам много прекрасных и патетических излияний, нежность которых так же трогает нашу душу, насколько величие других его произведений волнует и возвышает ее. Читатели, глубоко вникающие в поэзию Байрона, никогда не находили в ней недостатка в пафосе, но пафос тех произведений, о которых теперь идет речь, отличается такою глубиной и так покоряет себе, что сам поэт словно пугается его, или, вернее, ему как будто становится стыдно того, что он поддался такому чувству, против которого оказалась бессильною мрачная гордость его ума; он старается изгнать эту слабость из своего сердца и скрыть от постороннего взора намернувшуюся слезу, подобно человеку, внезапно охваченному такими чувствами, которых он не желает обнаруживать, потому что они, будучи вполне согласными с его натурой, противоречат тому внешнему характеру, какой эта таинственная натура вынуждена была усвоить в целях самозащиты.

"Есть, однако, одна поэма, в которой Байрон почти совсем отрешился от воспоминания о мрачных и бурных страстях: здесь и его настроение, и общий тон совершенно изменились, и поэт, которого прежде считали способным изображать одну только смертельную тоску, угрызения совести, отчаяние, безумие и смерть в их наиболее разительных проявлениях, показал, что он способен также разделять и самые чистые человеческие чувства и глубоко понимать горе и скорбь менее исключительных натур. "Шильонский Узник" - вот произведение, над которым дети проливали свои первые слезы таинственного сочувствия скорби, чуждой их счастливому невинному возрасту, - произведение, вызывавшее в благородной, чистой и верующей женской душе невыразимо-грустный прилив любви и нежности и заставлявшее старцев, почти уже отрешенных от мира, с восторгом приветствовать красоту и силу простодушной братской любви, лучем которой озарена и согрета эта поэма. В "Жалобе Тасса" мы находим такую же нежность и такой же пафос, как и в "Шильонском Узнике". Байрон не поддавался искушению изобразить дикую, страшную фигуру заключенного в тюрьму Тасса, не решился представить с бешеною страстью все ужасы этой тюрьмы и описать с теми потрясающими подробностями, которые были для него так привычны, крайнюю степень тоски и отчаяния несчастного поэта; он изобразил Тасса сидящим в своей келье и поющим протяжную, грустную, рыдающую жалобу, в которой, правда, иногда прорываются аккорды безысходной скорби, но гораздо чаще эта скорбь, переходящая в мрачную покорность судьбе, умеряется приятными воспоминаниями и смягчается доверчивой надеждой на бессмертную славу. Эта скорбь, накапливавшаяся в течение многих лет, до такой степени овладела душою поэта, что он как бы до известной степени утратил сознание остроты своего бедствия. Мы можем поверить, что он произносил, наедине сам с собою, этот жалобный монолог и утром, и в полдень, и ночью, когда, прислушиваясь к голосу своего сердца, он в то же время обращался к

природе, от которой он был насильственно оторван, но постоянное присутствие которой он ощущал в своем воображении". (Вильсон).

В рукописи поэма помечена: "Апенинны, 20 апреля 1817". Поводом к ее написанию послужило посещение Байроном Феррары, где он пробыл один день, на пути во Флоренцию. В письме к Муррею из Рима он говорит об этой поэме: "Мне думается, что тут есть хорошие "стишки", как говорил Попу отец, когда тот был мальчиком...

Стр. 77. Кто б мог вас вынести и кто б не изнемог?

В письме к своему другу Сципиону Гонзаге ("Di prizione iu Sant'Anna, questo mese di mezzio l'anno 1579") Тассо восклицает: "Ах, я несчастный! Я задумал написать, кроме двух эпических поэм весьма благородного содержания, четыре трагедии и уже составил для них план. Я задумал также несколько сочинений в прозе о предметах возвышенных и весьма полезных для человеческого жизни. Я намеревался соединить философию с красноречием в таких произведениях, которыми я мог бы оставить по себе в мире вечную память. Увы! Я ожидал, что моя жизнь закончится со славой и с похвалами, а теперь, угнетаемый тягостью столь великих бедствий, я потерял уже всякую надежду на восстановление своей чести и репутации. Боязнь, что мое заключение никогда не окончится, увеличивает мою печаль, которая еще более усиливается вследствие того недостойного обращения, какое мне приходится выносить; неопрятное состояние моей бороды, волос и платья и окружающая меня нечистота крайне мне досаждают. Я уверен, что если бы *та*, которая так мало отвечала на мою привязанность, увидела меня в таком жалком состоянии и в таком горе, - она почувствовала бы ко мне сострадание".

Что ложем служит мне, послужит и могилой.

Биограф Тасса, аббат Серасси, вполне убедительно доказал, что главной причиной постигшего поэта несчастья послужило его стремление освободиться, на время или навсегда, от службы при дворе Альфонса. В 1575 г. Тассо решил поехать в Рим, чтобы воспользоваться юбилейным отпущением грехов, - "и эта ошибка", говорит аббат, "усилившая уже ранее существовавшее подозрение, что он хочет искать другой службы, была началом его бедствий. По возвращении его в Феррару, герцог отказался принять его в аудиенции; его не принял также никто из придворных, и ни одно из тех обещаний, которые были даны через кардинала Альбано, не было исполнено. Вследствие этого Тассо, страдавший некоторое время от этих жестокостей, видя себя совершенно отвергнутым герцогом и принцессами, покинутым друзьями и оскорбляемым врагами, в конце концов потерял терпение и, дав волю своему гневу, публично разразился самыми жестокими и оскорбительными обвинениями против герцога и всего дома Эсте, проклиная свою прежнюю службу и уничтожая все похвалы, которые он прежде расточал в своих стихах как этим принцам, так и вообще всем, кто был так или иначе с ним связан; теперь он заявил, что все эти люди - шайка негодяев, неблагодарных и мерзавцев (*poltroni, ingrati e ribaldi*). За эти оскорбительные выражения он был арестован, отведен в госпиталь св. Анны и заключен, как безумный, в одиночную келью".

Я должен все сносит, как до сих пор сносил.

"В госпитале св. Анны в Ферраре показывают келью, над дверью которой находится следующая надпись: "Почтите, о потомки, сию знаменитую келью, в которой Торквато Тассо, страдавший не столько от безумия, сколько от скорби, провел в заточении 7 лет и 2 месяца, писал сочинения в стихах и прозе и был освобожден по ходатайству города Бергамо, 6 июля 1586 г.". Эта тюрьма находится ниже уровня пола госпиталя, и свет проникает в нее через заделанное решеткою окно с небольшого двора, бывшего, повидимому, общим для нескольких келий. Она имеет 9 шагов в длину, от 5 до 6 в ширину и около 7 футов в высоту. Кровать была разнесена по кусочкам, и дверь на половину срезана многочисленными поклонниками поэта, которых привлекала в Феррару слава его "стихов и прозы". Тассо содержался в этой келье с марта 1579 по декабрь 1580 г., а затем был переведен в соседнюю комнату, более просторную, где, по собственному его выражению, он имел возможность "ходить и философствовать". Надпись неправильно приписывает его освобождение ходатайству жителей Бергамо: в действительности он был освобожден по настоянию дона Винченцо Гонзаги, принца Мантуанского". (Гобгоуз).

Но это все прошло. Любимый кончен труд.

"Поэт является перед нами в таком настроении, словно двери его тюрьмы уже растворились перед ним. С каким благородством сильный духом певец возвышается от своих горьких сетований к спокойному и ясному восторгу перед красотами своего "милого труда", - *Освобожденного Иерусалима!* Но вскоре мы опять увидим его "среди этой тьмы ужасной", и вдохновенный ум поникнет под бременем бедствия. В этом переходе от божественного восторга к тяжелой тоске есть нечто ужасающее". (*Вильсон*).

Стр. 78. *Мой милый труд, дитя моей души!*

"Освобожденный Иерусалим" был окончен за несколько лет до заключения Тассо в госпиталь св. Анны: первые 4 песни поэмы были посланы им его другу, Сципиону Гонзаге, 17 февраля, а последние три - 4 октября 1575 г. Первое издание, с искаженным текстом, было сделано одним "авантюристом и интриганом", Орацио (он же Челио) Малеспини, в 1580 г.

Но ты уходишь прочь - и счастье за тобой,

И плачу, плачу я...

Гиббоном также овладела "сильная тоска", когда он написал последнюю строчку "Падения Римской Империи", ночью 27 июня 1787 г. Ср. стихотворение Пушкина:

Миг вожделенный настал, - окончен мой труд многолетний.

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня? и проч.

Стр. 78. *Ты не ответишь ли на это, Леонора?*

Вскоре после своего ареста Тассо обратился к Альфонсу с просьбой о милости в прекрасной канцоне. В другом стихотворении, обращенном к принцессам, он умолял их о сострадании именем их родной матери, которая сама испытала если не такие же ужасы, то, во всяком случае, подобное же одиночество заключения.

Для их жестокой воли

Восторг - усугублять тоску и ужас боли.

С первого же года своего заключения Тассо должен был вытерпеть все ужасы одиночного заключения в грязной камере. Он отдан был под присмотр тюремщика, которого главное качество - несмотря на то, что он был сам поэтом и образованным человеком - заключалось в беспощадном исполнении всех приказаний своего государя. Его звали Агостино Мости. Тассо говорит о нем в письме к своей сестре: "Он обращается со мною со всяческою строгостью и безчеловечием" (*Гобгоуз*).

Стр. 80.

Я ведал, что не мне блаженный жребий дан

И что любовь принцесс поэту недоступна.

"Совершенно невероятно, чтобы Тассо открыто выказывал ил и даже тапно питал страсть к Леоноре д'Эсте; с другой стороны, совершенно верно, что "сестра его государя*" была решительно непричастна к его заключению в госпиталь св. Анны. Поэт и принцесса знали друг друга больше 13ти лет; принцесса была семью годами старше Тассо и в марте 1579 г. ей минуло 42 года. Она умерла в феврале 1581 г., а Тассо оставался в заключении еще пять лет после того. Этот факт уже сам по себе служит достаточным опровержением легенды. Принцесса была красивая женщина, она покровительствовала Тассо, а он писал к ней сонеты и канцоны; но вовсе не она была причиной того, что поэт лишился разсудка и свободы". (*Кольридж*).

"Глубокая и неодолимая страсть Тассо к Леоноре, поддерживаемая без всякой надежды в течение целого ряда лет, проведенных в мрачном одиночестве, придает высокое моральное достоинство всем его чувствам. Мы ясно видим силу и мощь этого благородного духа, который, не взирая на все испытания, не изменяет предмету своего поклонения". (Вильсон).

Стр. 82. *И все ж я чувствую ден ото дня, невольню*

Слабеет разум мой...

"Я не жалуясь на то", писал Тассо вскоре после своего заключения, - "что мое сердце всегда полно скорби, что голова моя всегда тяжела и часто болит, что зрение и слух у меня ослабевают, и что весь мой организм истощается. Но, кратко сказав обо всем этом, я не могу не сожалеть об ослаблении моих умственных способностей... Мой ум спит, а не мыслит; мое воображение холодно и не рисует никаких картин; мои внешние чувства бездеятельны и не дают мне никаких впечатлений; рука моя пишет неловко, и перо словно отказывается служить мне... Я чувствую, что я словно скован во всех своих действиях; меня точно одолела какая-то необычная тупость и гнетущая неподвижность..."

Я вижу иногда какой-то чудный свет

И духа странного, что делает мне больно.

Об этом духе Тассо рассказывает в письме к Маурицио Катанео от 25 декабря 1585 г., называя его "folletto": "Этот воришка утащил у меня несколько крон... Он раскидывает все мои книги, открывает мой сундук и ворует у меня ключи, так что я ничего не могу спрятать..." В другом письме, от 30 декабря, поэт говорит о своих галлюцинациях: "Вдобавок ко всем проделкам folletto расскажу, что я часто по ночам испытываю тревогу. Даже когда я не сплю, мне кажется, что я вижу в воздухе маленькие язычки пламени, а иногда в глазах у меня так сияет, что я боюсь лишиться зрения... Я вижу, как из глаз у меня летят искры..."

Стр. 84. *На век останется святынею одна*

Тюрьма, где я томлюсь.

"Люди, верующие в земное возмездие злу, обратят внимание на то, что жестокость Альфонса не осталась без наказания. Он потерял уважение своих подданных и вассалов, которые покинули его незадолго до его смерти; даже и похоронили его без царских почестей. Его последняя воля осталась неисполненной, его завещание признано недействительным. Недолгое время спустя Феррара навсегда была утрачена домом Эсте..." (Гобгоуз).

Тогда я разделю с тобой тех лавров славу,

Что осенят мой гроб.

В июле 1586 г. Тассо был освобожден из заключения, продолжавшегося более семи лет. Вскоре затем, желая получить наследство, оставшееся после его матери, и увидеть свою сестру Корнелию, он приехал в Неаполь, где был встречен с большим почетом. Между прочим, известный атаман бандитов, Марко ли Шарра, узнал о местопребывании великого поэта, прислал ему приветствие и обещал ему не только свободный проезд, но и свое покровительство в пути, предоставляя всю свою шайку в его распоряжение. Незадолго до своей смерти, Тассо действительно был увенчан лаврами в Капитолии, несмотря на противодействие со стороны академии Crusca.

"Радости воображения много раз описывались и в стихах, и в прозе; но в действительной жизни бывают такие минуты, когда нужда и скорбь уничтожают эти радости. Впрочем, история человечества показывает, что сила воображения не парализуется ни физическими страданиями, ни другими неблагоприятными условиями, действующими на нашу материальную природу. История Тассо служит может быть наиболее возвышенным и трогательным доказательством этой истины, которая неизгладимыми чертами напечатлется в сердце каждого, кто только увидит мрачную, ужасную тюремную келью, где поэт томился более семи лет. В этой сводчатой камере, один вид

которой заставляет сердце сжиматься от ужаса, Тассо оканчивал и исправлял свою бессмертную поэму. В этом отношении "Жалоба Тасса" Байрона представляет возвышенный и глубокий нравственный урок. По изображению самых сокровенных чувств человеческой души это - самое красноречивое, самое патетическое, самое сильное и самое высокое из всех произведений нашего поэта. Какое сердце не тронется этой поэтической "Жалобой", - какое воображение не воспламенится ею, в каком уме она не вызовет высоких мыслей? Если бы Байрон ничего не написал, кроме этой одной поэмы, то и в таком случае оспаривать у него право называться великим поэтом - было бы делом вопиющей несправедливости или грубого тупоумия". (Бриджес).